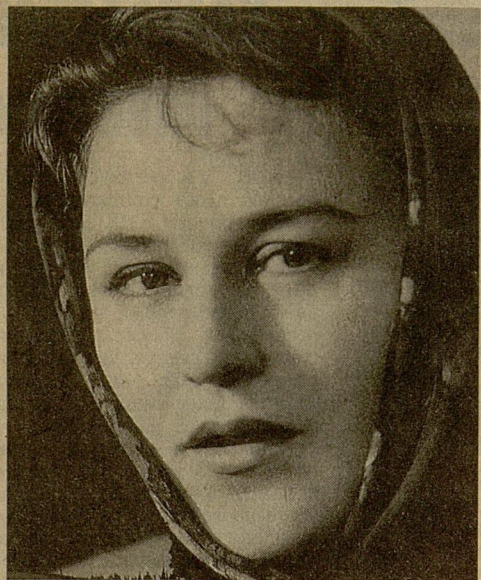


ЗАПИСКИ АКТРИСЫ



Актёрские судьбы неисповедимы. Особенно в кино. Сколько каждодневных драм переживает на съёмочной площадке и вокруг нее! Сколько выматывающих душу простов, томительного ожидания новой роли знает каждый, кому довелось познать маянший свет юпитеров. Сколько обманутых ожиданий, разбитых надежд связано с зазеркалем белого экрана...

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Так гласит известный афоризм. Актёры спасаются как могут, как умеют, как кому повезет... Одни в поисках реализации творческой энергии накручивают тысячи километров, выступая с лекциями, концертами в неоглядных далах нашей страны, другие пробуют себя в смежных сферах искусства. Не потому ли среди актёров так

много блистательных дилетантов — певцов, композиторов, художников, писателей...

Нонна Мордюкова пишет давно. Еще много лет назад было известно, что актриса по праздникам да семейным торжествам выпускает домашнюю стенгазету — веселую и мудрую, изобретательную и яркую. И хорошо написанную. Кроме того, ведет ли дневник, то ли заметки, наброски «с натуры». Думалось, что это забавы «для дома, для семьи». Получилось — для всеобщего читателя. В 1988 году журнал «Октябрь» познакомил с частью записок актрисы под названием «Вот так и живем...», сейчас на 1990 год готовится новая публикация.

Собирая материал для биографии о Мордюковой, мне довелось провести с актрисой в разговорах, спорах, воспоми-

ниях много часов. Удалось познакомиться с творческой лабораторией Нонны Викторовны. Есть у нее дома в заветном уголке огромный картонный ящик, куда она десятилетиями складывала написанные не очень разборчивым почерком разноформатные листки бумаги. О чем она писала? О разном. О старухе, продающей на рынке капусту. О донском детстве. О совместных съемках с В. Шукшиным в «Комиссаре». О своей маме, надорвавшейся в работе. О съемках в фильме «Молодая гвардия». О Никите Михалкове и Андрее Миронове. И о многом, многом другом.

В этих заметках немало жемчужин настоящей литературы — яркой, образной, сочной.

Леонид ПАВЛЮЧИК.

Пьяные люди

Как-то мы снимали фильм под Херсоном. Расселили нас всех по разным хатам, и мне достались очень хорошие хозяева. Маруся, ее сын Коля и муж Анатолий. Жили они счастливо; хоть муж был отчимом Марусиного сына, но любил его до самоубийства. Одно плохо: пил по-черному. Правда, пока работал в поле — ни капельки. А как с работы, так полный грузовик специалистов по портвейну едет в сельпо, к черному ходу. Гургургур, буль-буль-буль; кто домой, кто куда, а Анатолий мертвяком где-нибудь валяется неподдающую от магазина. Коляка ежедневно брал двухколесную тачку и ехал за отчимом. Посадив с помощью взрослых невменяемого папу, он трогался в путь. Тачка небольшая, руки, ноги Анатолия свисают. Коля умело регулировал ее, чтобы во время езды колесо не зацепило ноги. Никому из сельчан и в голову не приходило обращать внимание на эту картину, все так привычно и как бы естественно.

— Мама, мамочка любимая, — дорогой кричал Анатолий. — Сердце мое заплаканное! — Это жену свою он называл «мамой».

Тачку — под яблоню, жена с сыном вытаскивают неуклюже, сразу отяжелевшее тело. Увидит Анатолий лицо жены, обнимет ее и с еще большей страстью зашепчет на ухо ей:

— Любовь моя, единственная! И тебя люблю, и Колю. Коляка, где ты?

Когда я немного освоился у них, то тоже стала помогать им каждый вечер отрывать Анатолия от его коляски, укладывать на топчан, стоящий тут же, под деревом.

— Ничего, ничего, спи, — приговаривала красивая молодая женщина.

— Вы знаете, — обращалась она ко мне, — у него ведь золотые руки и характер хороший. Он перед утром совсем будет трезвый, на работу как огурчик пойдет. Ударник...

Но вот как-то задохнулось. И нам плохо, и колхозу тоже — уборка приостановилась. Сидим мы под яблоней вместе, вареники едим. Анатолий был очень смешливый, прыскал от души от всех наших рассказов. И, что странно, не вспоминал про пивную и дружок своих. Надо же было мне так сблизиться с этой семьей и так, в общем-то, обнагаться, что сама уже не помню, как это получилось, но я ему скорчила ту самую року, с которой он кричит по пьяни: «Ма-ма, ма-мочка!»

Маруся, схватившись за живот, задохнулась от смеха и выбежала из-за стола. Коля тоже пунтирничком, как-то дробью захохотал своим звонким детским смехом. Анатолий внимательно выслушал меня, разглядывая мое лицо. Потом, застенчиво улыбаясь, мотнул головой в сторону и стал набивать газету табакком. Спустя некоторое время вернулась Мария. Коляка резко перестал смеяться, почував, что отцу это копирование не по душе.

— Ну, давайте, давайте... — Бормоча какие-то бессмысленные слова, Мария присела к столу.

Дальше обедали молча. Мария все еще кусала губы, сдерживая смех. Анатолий усердно съел борщ, потом вареники, выпил кружку молока и пошел к сараю. Вскоре он вышел оттуда с мотором от лодки.

— Папани! Можно и я с тобой?

— Пошли, — буркнул тот.

Папан догнал его, и они скрылись в камышах. Маруся уронила голову на клеенку и стала хотаться. Всплыв!

— Ой, Нонна Викторовна! Ну как у вас натурально получилось!

— Может, мне съехать на другую квартиру? — спросила я. — Он, по-моему, оскорбился.

— Кто? Толя? Да вы что! И не выдумывайте. К завтраму все забудет. А вы, смотрите, на западе небо светлеет. Небось, завтра работа будет.

Действительно, утро было с росой, прохладное, значит, день будет что надо. Анатолий ушел рано и домой явился без заезда в пивную. Он поужинал и пошел в сарай чего-то колдовать. И так текли дни. Я со съемок, Анатолий с Марией с работы, а Коля нам уже борща наварит и ждет.

— Викторина, — хлебав борщ, обратился как-то ко мне Анатолий, — не помоги б вы как-нибудь нам через свои заслуги достать мотоцикл с коляской?

— А почему же? Только где это? К кому обратиться то надо?

— А это в Херсонском райисполкоме. Там очередь огромная. Но, может, попробуете? Тут недалеко, километров сорок.

Вот раненко утречком и едем мы с Колей в город.

В райисполкоме мне отказали: желающих на мотоцикл с коляской — весь край. Но обещали, правда, пододвинуть очередь на то лето. Выхожу. Коля стоит возле нашей лошади и держит два эскима.

— Колячка, не плачь...

Он отдал мне подержать мороженое, а сам бестренько пристроил вожжи на изготровку и выпрыгнул в подводу.

Приехали, а нас уже ждали вареники с вишнями. Анатолий, подбочинившись, стреляя глазами из-под курдючного чуба и сверкая белыми красивыми зубами, внимательно слушал мой рассказ.

— Да черт с ними, — сказал он. — Очередь пойдёт, куда они денутся! Садись, Викторина, обидать...

Прошли годы. Выходит в свет книга Инны Левшиной «Н. Мордюкова», и я бандеролью посылаю под Херсон любящийшей мне семье обещанный экземпляр. Получаю ответ от Марии.

«Да дорогая ты моя, да разубеждена, — писала она, — да какое же ты доброе дело сделала, Нонночка! Так и не пьет наш папка с тех пор, как ты его изобразила за завтраком. Так и не пьет, уже шестой год пошел. «И не буду!» — говорит, но и «мамочкой» меня не называет. Трошки обидно, но «Мусек» тоже неплохо...»

Какую же я рожу скривила ему, подумала я, если человек остановил в себе на миг течение крови и повернул его в другую сторону?

Конечно, есть более душеспасительные события, требующие и крупноты описания, и большого таланта писателя, а я вот боюсь, очень боюсь душою, созная наличие их, пьяных людей. Маленькой была, отделялась легко — бежала, застав дыхание, на противоположную сторону. Если дядька шатается из стороны в сторону, значит, он попался в губительные и страшные сети, и его необузданность страшна, и песни его — не песни, а сигнал бедствия.

Бывало, бегу:

— Мама, там пьяный!

— Ой-ой-ой! — мотала она головой.

А я была недовольна ее неглубоким сочувствием — ведь там шел пьяный, безумный! Уж лучше серый волк: он волк, и его прямая задача — напа-

дать, а человеку дается отчетливая цель — бежать и защищаться.

Теперь, когда прожито много, я не нахожу слов, какими можно определить эту смесь понятий в одном человеке: «хороший», «больной», «убийца», «добрый». И никто, наверно, не сможет. Как избавить семью от страданий, если в ней появляется алкоголик? Он, изверг, держит в кармане ключи от всех душ семьи, от всех возможностей материального улучшения, от всех желаний, он рапилом дерет душу каждого, все ставит на дыбы. И живет только одним интересом — пить. А на какие деньги? И семья, вытянув обе руки, подает денежки. Другого выхода нет. Нервы его идут к критической точке. Начинает бушевать, крушит мебель, кидаться ею в кого попало. Близкие видят, что он уже сизый, худой, как скелет. Но... жалость! Жгучая жалость — вид-то действительно жалкий. И вот она, специфика родственных уз: страдать, плакать, благодарить бога, что ступ пролетел мимо головы и всего лишь разбил маленькое старенькое зеркало. Это заложники. Самые настоящие заложники те люди, у которых в доме алкоголик.

Нонна МОРДЮКОВА

«Вот так и живем...»

Мне всегда хочется зажмурить глаза и предположить: а что если бы идущая на работу дворня или учительница, или другой какой человек в одночасье избавились от такого «командира»? Какая была бы жизнь! Но они не могут. А мать, жена, ребенок плачут, всегда жалеют и ждуть, жалуют и ждуть, что папу отпустит нечистая сила и он избавится от плохого, ведь он хороший... Он хороший, он только зацепил рыболовным крючком за каждое сердце в семье и то натягивает жилы, то отпускает... Вот опять мелькнула надежда: «Мать! Да последний раз... Сухенького куплю и сегодня пойду на спуск». «Неужели? Да на тебе, на последние, лишь бы пошел на спуск»... Боль притупилась, появилась слабая надежда на несколько дней...

Одно время мы жили в старом доме, почти полностью укрытом кронами таких же старых деревьев, как и он сам. В квартире из-за этого всегда было темно, особенно летом. Толпопыхлистый пух от каждого движения вихрем кружил по дому, и нам нравилось подносить зажженную спичку к его «снеговому» кучкам: ни вспыхив, ни пуха, как будто ничего и не было. Сумрачно было и во дворе — сверху густою кожей кронами деревьев, а внизу — масса тощих, безжизненных кустов, мечтающих о солнце.

Однако в душевные летние ночи здесь было и прохладнее, и дышалось легче.

Окна везде открыты, на всех четырех этажах. У обитателей дома посему выработался летний рефлекс — разговаривать не очень громко. И тем не менее каждый друг о друге знал почти все. Рядом с моим окном, где я обычно спала, почти каждую ночь происходила такая сцена. Примерно в двенадцать часов ночи слышался «оненький» писк стонущей старушки. Мерно раздавались удары кулака в мягкое тело...

— Дай, тебе говорю!

— Да ведь ночь уже, все закрыто. Потерпи до утра, — натугой шепотом отвечала старушка. Пьяница, перевалившись через окно, дышал шумно, разносил вокруг вонь перегара.

Потом рыком нырял в дом. Снова удары, писк без объяснения. «Героя» я видела ежедневно, то с проводом куда-то плетется, то с ведром с мазу-том.

Мы знали, что он живет вдвоем с матерью, что всякий раз выдирает с мясом из ее рук принесенную пенсию и, зная, что больше денег нет, ночами требует от бедной старухи на выпивку. Она, наверно, когда была помоложе, запасалась на ночь вином, чтобы он не дрался. А теперь, когда она уже давным-давно не выходит во двор, сын спяну вспоминает прошлое и душит мать в буквальном смысле слова...

Бедная женщина, и хочет она, чтобы скандала не было слышно, и страшно за сына; как бы в милицию не попал. И, конечно же, ей жаль своего единственного «дорогого сыночка».

— Он такой хороший, когда не пьет, — как-то давно я слышала от нее. — Ведь он рыбок разводил... Букашку не обидит.

Но я никогда не помнила этого «юного натуралиста» трезвым.

И вот лежу я опять еле живая. Жду, когда же кончится это беззаконное истязание невинной женщины, созная, что ничем не могу помочь... Вдруг два дня там полная тишина. Листочки деревьев лопочут между собой. Осторожно высываюсь в окно — соседское рядом. Оно закрыто, но все равно мне ясно, что там больше не возятся. В полдень маленькая группа людей осторожно стаскивает гроб с четвертого этажа на первый. Поставили под деревом табуретки, на них гроб, все, как полагается, — умерший как бы прощается с тем местом, где жил и умер и где, может быть, даже родился. Можно подойти к подножию, в таких случаях не спрашивают... Каждый подошедший горько всхлипывал, что было все же неприлично для меня: чужие покойники не вызывают такой реакции, но тут... Тут был особый случай — окаянное бумажными цветами лицо было все изуродовано болями.

Одна старуха, высокая, костистая, подошла к гробу и решительно откинула покрывало. Руки покойной оголились до локтей, и на них было видно не меньше следов насилия.

— Вон они, деточки, выдали? — не стесняясь, громогласно заявила она. — Эх, соседи! — И зарыдала с искаженным лицом. — Как же вы допустили до такого!

— Ну-ка! Марш все! — взревел на весь двор сын покойной. — Давай, рыбки!

Пьяненькие «рыбки» подхватили на плечи гроб и понесли к Новодевичьему кладбищу, которое тогда было близко и еще доступно для простых людей.

— А вам чего надо тут?! — резко повернулся к нам душегуб. — Вон оттуда, без вас обойдемся!

Мы молча вернулись под кроны деревьев.

«Он очень добрый, букашку не обидит!.. Он хороший!» — долго еще слышался мне голос его матери.

Горькие страницы

В палате стоят четыре кровати изголовьями к стене, у ног небольшой проход и голая стена, выкрашенная бледно-салатовой краской. С левого края дверь, через которую всяк сюда входящий сразу же попадает в зону видимости, и лежащие от нечего делать безучастно наблюдають, рассматривают, провожают взглядами всех: медсестру ли со шприцем, или прилежно поправляющего халат прищельца из той жизни.

Идет день за днем. Процедуры, кормление, мытье, обходы врачей... Все как обычно в больницах. Однако по мере знакомства друг с другом в палате закручивался сюжет. Трое из женщин на вид были вполне здоровыми. Они то морщились, то тарасили глаза, то зажмурившись, терпели короткий укол иглы, то капризничали, пустив слезу,

то с удовольствием пускались посудачить негромко, по-больничному. И только заданная до смерти своим сюжетом и болезнью женщина была тиха, неподвижна и спокойна.

Смотреть на нее было тяжело: лицо было мертвым, но глаза еще блуждали, отыскивая какие-то точки на потолке, да одеяло на груди равномерно приподнималось от тикого ее дыхания. Немного, медицинскими терминами она поясняла разным врачам при обходе, какие болезни и операции перенесла.

Однажды врачи попросили ее встать, чтобы осмотреть и послушать спину. С их помощью она поднялась, прилежно оголила спину и, согнувшись дугой, сильно уронила руки. На правой лопатке, как будто после удара топором, зарубцевался толстый шрам.

— А это что у вас, коллега?

При слове «коллега» соседи отвернулись, чтобы скрыть свое волнение: они знали, что умирающая была когда-то фронтовой медсестрой. Больная заговорила об отечении правого легкого в связи с ранением, но дальше ничего нельзя было понять: посыпалась латынь. Доктор помог женщине поправить рубашку и, не дожидаясь услуг сестры, осторожно положил ее на подушку. Не поднимая глаз, она внятно и ровно произнесла:

— Доктор, прошу вас, не переводите меня никуда. Я буду вести себя хорошо. Мне необходимо быть здесь... Два дня.

Доктор дал какое-то распоряжение сестре, и они вместе вышли. Стало тихо, слышно лишь было, как из приемничка летели слова: Картер, Иран, нейтронные бомбы, крылатые ракеты, нефть, флот, Пакистан, шах, разоружение. Каждый день, будто исповедуясь, умирающая неторопливо, набравшись сил, продолжала вести свою сюжетную линию от начала войны до сегодняшнего дня. Соседи ждали тех минут, когда она, будто диктуя для машинистки, монотонно начнет свой драматичный рассказ.

Получился он пунктирным, но даже такой прерывающийся рассказ дал все же достаточно полное представление о счастливой и горькой доле когда-то давно горячо влюбленной первой, тайной любовью девятиклассницы, когда еще чувствовала только с личным другом — дневником.

Проводив на фронт ребят из десятого класса, среди которых был и он, Юрка Косарев, она не находила себе места. Жизнь стала ненужной, унылой и пустой. Ни сводки с фронта, ни мобилизация, ни страхи не интересовали ее, тем более что никому и в голову не приходило, что война началась нешуточная и не на один год.

«Юрка, Юрка, где ты?» Ведь вот-вот стало бы ясно, кому же все-таки он отдает предпочтение: ей или Лиде Даниленко. Сердце по ночам бежало куда-то, перебираемые в памяти факты обнадеживали ее. Все! Дальше терпеть не было сил. На фронт! Только туда! Найти его, воевать вместе с ним, погибнуть возле него...

Прослушав в школе всего несколько уроков для будущих медсестер, она твердо заявила командиру части, где служил Юрка, что она медсестра и хочет добровольно служить. Как она нашла эту часть, не рассказывала. В первые дни никакой войны и никакого Юрки поблизости не оказалось. То она бродила как неприкаянная возле оценившейся собаки, то болтала с одинокой бабкой, доживающей свой век на краю села.

Бабка ставила посреди двора корыто, советовала натаскать туда воды из колодца да и сполоснуться вечером нагретой солнцем водою. Липли к мокрому спине жесткие листья кукурузы, покусывали мухи, радость предстоящей встречи переполняла ее.

Приготовилась было разыграть удивление при встрече, но не удалось. Как-то под вечерок ее попросили что-то написать. И вдруг в хату, что занимал командир взвода, влетает Юрка. С разбегу он обнял ее, прижал к себе и выдохнул в ухо:

— Наконец-то, Аня! Я тебя люблю! — И начал чмокать то в губы, то в щею.

От него пахло пылью, бензином и потом. В военной форме он стал каким-то властным, мужественным и родным. Два дня они улавливали моменты и все прижимались, прижимались и дули в ухо друг другу: «Люблю, люблю тебя...»

Но тут тихие дни в одиночестве лопнули, вспыхнули бои, и медсестрички, снабженные медицинскими сумками, побежали рядом с бойцами, машинами, орудиями. Побежала и Аня. «Справлюсь ли? Как это все...» — думала она. И вот — первый упавший боец с разорванной снарядом брюшиной. Замычал он, заскрипел белыми, как сахар, зубами и взмолился:

— Спаси, сестра!

Аня присела, потом плюхнулась возле него, бессмысленно растегнула и застегнула сумку. Крикнула, зарыдала, наклонилась над умирающим солдатом, потом поспешно отползла от него, почув-

ствовав, как потеплели ее колени от льющейся из солдатской груди крови. Стрельба, взрывы и всеобщее движение вперед.

— Товарищ боец! Если так будете плакать... — крикнул кто-то на бегу.

Дальше началась работа: перевязывает раненого, оттащит его — и снова туда, на поле боя. Было жарко, тяжело, но не переставая екало сердце при воспоминании о плечах Юрки, от ощущения его припухлых губ. «Как же мне не стыдно? Такое творится, а я все о нем...»

Командный состав санисходительно относился к их любви, все делали для того, чтобы воевали они вместе. Много всего было за два с лишним года. И ранило Юрку — другая медсестра оттащила его с поля боя и спасла жизнь, и Аня трижды побывала в госпиталях. Но потом Юрка опять был возле нее. Перед самым концом войны пришлось наравестись: уезжала в тыл, будучи уже не Трофимовой, а Косаревой, и не одна, а вдвоем.

Вернулась Юрка с войны, раскромсанный ранениями, но тогда это никто не брал во внимание, главное — живой. Стали скитаться по Москве, потом появились крохотная комната в коммунальной квартире. Народился еще один мальчик, Дмитрий. Звали его, правда, Колей, но он, как-то глядя на букву «М» над входом в метро, радостно крикнул: «Вон, вон метро!» И на всю жизнь стал он дома Дмитрием.

Аня помнит, как, невзирая на тесноту, любили ходить к ним гости, помнит, что увидела всех пригородом, который она изловчилась испечь из лапы.

Но война еще давала знать о себе... Юра иногда поглаживал ладонью живот, и на лице появлялась тревога: видно было, что он борется с каким-то недугом. Вскоре он оказался в больнице. Аня при нем не плакала, а когда шла домой, рыдала навзрыд, пугая прохожих.

Вскоре она устроилась работать на овощехранилище недалеко от дома. Упрячте, бывало, от детей все острое и опасное — и на работу. В овощехранилище варили картошку и разрешалось съесть, сколько хочешь. Хоть и без хлеба, а накидывались за милую душу. И вот Аня не выдержала и стала по пять-шесть картофелин класть себе за пазуху, уходя домой. Картошка была холодной, как лед, но мысль о том, что она накормит его своих мальчиков, согрела душу. И стыдно было красть, но вид худеньких, бедных сыновних лиц толкал на это.

Когда однажды Аня не впустили в больницу, Юра написал коротенькую записочку: «Мои дела плохи, готовься ко всему. Крепись. Если что, я останусь с тобой в двух экземплярах». И Юра умер. Если б не дети, казалось, и жить незачем. Но Юра был прав: эти «два экземпляра», как две капли воды похожие на отца, мобилизовали Аню на жизнь...

Дальше рассказывать Аня была не способна, она надолго замолчала. Больные косились: дышит ли?

Неожиданно вошла нянечка и со значением произнесла:

— Косарева, к тебе два красавца моряка!

Аня, не поднимая глаз, слабо ответила:

— Впустите, это мои дети.

В палату вошли два очень похожих моряка с белыми блямбами на спинах — это они так сумели набросить халаты. Фуражки в руках. Братья застыли на фоне зеленой стены, с мучительной вежливостью глядя на женщину, напоминающую мать. Та собралась с силами, улыбнулась и выдохнула:

— Ну как, ребятки? Что насчет войны слышать?..

Она вздохнула последний раз, и по щекам ее потекли слезы, которые обязательно катятся у умирающего, сохранившего хоть каплю сознания. Сыновья кинулись к ней. Став на колени по обе стороны кровати, они приложили розовые молодые лбы к желтой усохшей руке матери...

Молчун

О войне я всегда слушаю с напряженным вниманием, буквально живу с теми, о ком речь.

Как-то должна была выступить в подмосковном кинотеатре. Перед выступлением — чай, жадные рассказы устроителей и директора кинотеатра обо всем и, как обычно, мое нежелание говорить об отвлеченном, потому что у меня естественное волнение в этот момент, настроение побыть одной. Я не люблю чай, никогда его не пью, а отказать неудобно. Значит, за этот чай мне придется расплачиваться: сколько лет, кто муж, чем занимается сын, какая квартира, какая зарплата? Порой стисну зубы и молчу или: «Простите, я переоденусь», или: «Простите, боюсь опоздать на выход».

Выступаю, пою чай, пока крутят фрагменты фильмов, нехотя выступиваю двух женщин. И вдруг мозжечок «гормозит», сосредоточивается — и я вся внимание. Директриса, привыкшая, конечно, бедолага, к своей жизненной ситуации, сообщает: муж — фронтовик, доброволец, сейчас врач. Постоянно боится от ранения на войне. Много книг уже прочел о неупокоивающемся ложе, оставшемся после устранившегося осколка. Правда, осколок был большой — 180 граммов, в макеты голени. Врачи тоже недоумевают, а отнимать ногу не дает — глупо! Голень, мясо, дурное, безмозглое мясо! Осколок вынут легко, без последствий. И на тебе! Через пятнадцать лет после удаления ложе зашевелилось. Через пять лет сделала «чистку» по настоянию самого больного (врача-хирурга), нашли никелированные «брызги». И началось. Вместо 56-го стали покупать одежду 48-го размера. Дальше стали, как говорится, «дурить» его: купили 46-й размер, а метку перешьют с 52-го. Молчун молчуном стал муж. Всех возненавидел за вранье, потому что знал, что происходит с ним, и кидался разными предметами в каждого, кто говорил дурацкую фразу: «Все будет хорошо». А сам все читал, читал литературу медицинскую и... все черствел, черствел к родне.

Я замерла от этого рассказа директрисы. Муж ее уже давно не ходил никуда, сидел дома. И вот однажды попросил жену достать всю свою военную одежду. Она поняла: обмундирование было тех давних времен, когда он еще был худ от молодости и яростной борьбы. Стал носить гимнастерку, брюки, сапоги, шинель. Полечалось: вроде все по нему. Но полечалось как-то обреченно.

Жена каждый раз приглашала его на разные мероприятия в своем кинотеатре, но он никогда на них не ходил, по-прежнему сидел у окна, глотал таблетки и молчал. Однажды она ему сказала, что сегодня будет творческий вечер Мордюковой.

— Это надо сходить, — сказал он и пришел.

Сидел бывший фронтовик в военной форме, маленький, незаметный.

Я, как говорится, «выдавала» все, что могла, и все хотела разглядеть лицо этого обреченного человека, который впервые за десять лет проявил какой-то интерес к жизни. Но ведь это же лучшая премия мне — признательность погибавшего воина, лучшая награда.

Помню и то, как излившись суетилась в тот вечер и, вконец расстроившись, попросила директрису позвать мужа за кулисы, познакомиться с ним.

— Что вы! — взмолилась она. — Он ничего не должен знать о нашем разговоре... Разве с таким характером, как у него, он может позволить себе исполнить свою давнюю мечту — познакомиться с исполнительницей роли Ульяны Громовой — в таком роковом наряде!

— Ну, может быть! — вяло протестовала я.

— Да нет... Он уже отправился домой. Посмотрите в окно, видите?

Я выглянула и заметила мужчину на костылях, в шинели с разлетающимися по ветру полами. И по тому, как он твердо вставал костыли в вытопанную снежную тропинку, еще чувствовалась былая крепость походки. Я же знала, что жена моложе его лет на двенадцать. Но я поняла и другое: она притерлась к беде, смирилась, как мирится с переменной времен года.

Но «это надо сходить» дорогого стоит для человека, занимающегося искусством.